



1982-99  
⊕ парк 1333

**ЕФИМ  
ЭТКИНД :**

1974

**ЗДЕСЬ  
И ТАМ**

в орег. 1974 бн ехал

8 Бродский — 1963-4 411  
Пирейон 1968 419  
Солженицын 1973-4  
(Булак М.С.) апрель 1974  
57, Тайное сотрудничество 42



Академический проект  
Санкт-Петербург

2004

Рашель Рутчайлд.

европейцев, так и американцев. Истинный демократ, он всячески стремился включать студентов, аспирантов и женщин в число докладчиков и рецензентов.

Ефим Григорьевич также с удовольствием общался с нашими носителями языка, обычно недавними эмигрантами из Советского Союза. Особенно он симпатизировал Натану Львовичу Готхарту, инженеру-ко-раблестроителю, ветерану Второй мировой войны. Готхарт был знаком с Анной Ахматовой, и Эткинди уговорил его написать об этих встречах.

Однако и это не исчерпывает всего, что делал Ефим Григорьевич. Понимая необходимость широкого освещения научных докладов, представляемых на симпозиумах, он стремился добиться публикации материалов симпозиумов. Ему удалось найти издателя в Санкт-Петербурге, который согласился напечатать книги за приемлемую плату. Чтобы субсидировать публикации, Ефим Григорьевич одолжил школе деньги на оплату изданий и часто сам забирал книги от русского издателя и привозил их в Вермонт, чтобы еще больше сократить расходы. В результате его усилий были опубликованы тома II (Марина Цветаева, 1892—1992), III (Михаил Лермонтов, 1814—1989), IV (Гавриил Державин, 1743—1816), Тома II и IV были изданы при участии Светланы Ефимович, которая вместе с Ефимом Григорьевичем организовывала Цветаевский и державинский симпозиумы. Одним из последних дел, выполненных мной по уходу с должности директора Русской школы, было выпустить долг Ефиму Григорьевичу.

Многие могут засвидетельствовать выдающийся научный вклад Ефима Григорьевича. Я помню также и другие особенности этого человека, вероятно, отчасти проявившиеся благодаря особым природным условиям летней Русской школы, расположенной среди прекрасных, покрытых лесами Зеленых гор. Ефиму Григорьевичу было уже за семьдесят, когда я с ним познакомилась. Отказываясь «опускаться планку», он сохранял сильную волю и стремление осуществлять все, что можно, в отведенный ему на этой земле срок. В Русской школе он вставал рано, независимо от того, когда лег спать, и плавал около моста в окрестном Брукфилде, веря, что оздоравливающая сила воды поддерживает в нем молодость и здоровье.

Преданный отец и дедушка, Ефим Григорьевич каждый раз проводил за рулем долгие часы, чтобы до возвращения домой в Париж, где жила его дочь Катя и ее муж Даниил, навестить в Горонто свою старшую дочь Машу, ее мужа Ури и своих внуков.

Ефим Григорьевич был необыкновенным, редким человеком. Я считала, что мне довелось быть с ним знакомой, и сожалело только о том, что я не знала его раньше. Хочется верить, что в настоящий момент в каком-то другом измерении Ефим Григорьевич организует конференцию или читает доклад, обсуждает со знатоками различные вопросы русской литературы, или — в свойственной ему демократической манере — беседует с тамошними рабочими о великом градоуцеле.

*Перевод с английского Рашель Рутчайлд и Рэчел Марини*

Сергей Давыдов

## Зимние воспоминания о Вермонтских летах

Мои дети звали его дядя Фима. Спал он обычно на походной раскладушке в моем кабинете, просыпался с петухами, делал суворовскую зарядку и подолгу плавал в пруду перед домом. Из-за его густых бровей мои дети считали, что он мой родной дядя, и в некотором роде были не так уж неправы. Я вырос без отца, тайно считал отцом моего научного руководителя (я писал диссертацию о Набокове), профессора Йельского университета Виктора Генриховича Эрлиха, а теперь у меня, кроме «доктора-фатера», появилась и «доктор-дядя».

Помню, как в первую ночь в нашем деревенском доме в Вермонте я уложил Е. Г. в кабинете на раскладушку, а утром долго искал его по всему дому. Нашел я его на втором этаже в комнате для прислуги. Оказалось, что ночью по дороге из туалета Е. Г. заблудился. Несколько лет спустя в Париже, при встрече с Джорджем Клайном, философом, переводчиком, пропагандистом и покровителем Бродского в Америке, они вместе восстанавливали причудливую топографию нашего дома-лабиринта и вычисляли, что оба в разное время ночевали в одной кровати, в той же комнате.

При коллежке Мидлбери в Вермонте, в котором я до сих пор преподаю, существует известная в Америке летняя Русская школа. Школ, собственно говоря, восемь (французская, немецкая, итальянская, испанская, арабская, китайская, японская и русская), и наш провинциальный городок Мидлбери (3000 населения и 2000 студентов) превращался в летние месяцы в истинный Вавилон, в котором Е. Г. чувствовал себя как дома. Я всякий раз изумлялся, насколько непринужденно, чисто, с какой идиоматической легкостью Е. Г. говорил и шутил по-немецки и по-французски с коллегами из других школ и с каким лекциаторским мастерством он читал на лекциях о Цветаевой или Мандельштаме стихи Рильке или Огюста Барбье.

В 80-е годы директором летней Русской школы был замечательный литературовед Дэвид Ветта (автор известных книг о Ходасевиче, об Апокалипсисе в современной русской литературе, о Бродском, о Пушкине), а я руководил литературным семинаром для аспирантов. Ежегодно мы приглашали в Мидлбери крупных ученых. За десять лет существова-

ния семинара (1981—1991) в нем участвовали многие из светил зарубежной славистики: Нина Барберова, Семен Карлинский, Эдвард Браун, Морис Фридберг, Александр Жолковский, Марк Алтыгулдер, Елена Дрыжакова, Бенгт Янгфельд, Виктор Террас, Виктор Эрлих, Омри Ронен, Николай Полторацкий, Иван Елагин, Александр Левинский, Лев Лосев, Михаил Крепс, Вадим Дягунов, Михаил Эпштейн, а в торбачевское время стали приезжать и ученые из СССР — Валим Вацуро, Юрий Манн, Мариятта и Александр Чулаковы, Александр Долинин. Из писателей у нас за эти годы побывали Белла Ахмадулина, Булат Окуджава, Андрей Битов, Фазиль Искандер, Юнна Морич, Иосиф Бродский, Саша Соколов, Виктор Ерофеев и другие.

Е. Г. почти ежегодно проводил лето в Вермонте. Сначала он вел занятия у нас в Мидлбери, а затем уезжал в Норвич, где была другая Русская школа, при которой он организовывал литературные симпозиумы. Результатом этих симпозиумов стали четыре замечательных сборника под редакцией Е. Г., Светланы Ельницкой и Льюиса Лосева (Пастернак — 1991, Цветаева — 1992, Дермونت — 1992, Державин — 1995). На страницах сборников, помимо самих редакторов, печатались многие известные литературоведы (а также менее известные и даже совсем начинающие авторы).

За эти вермонтские лета мы вдоволь набеседовались с Е. Г. о поэзии. Часто это происходило под звездным вермонтским небом, у костра, под кваканье лягушек, плеск окуней и русские песни наших подвыпивших коллег. Но нашими беседам предшествовал «Разговор о стихах». Эта книжка, изданная «Детской литературой» в 1970 году, стала моим первым знакомством с Е. Г. Читал я ее уже не в детском возрасте, в Германии, и с упоением прислушивался к голосу человека, который чувствовал стихи так, как мне их всегда хотелось чувствовать. До сих пор мне запомнились миниатюрный экскурс по поводу строки Блока: «Он занесен — сей жезл железный», ведущий от Овидия («железный век, из хулией руды») к Пушкину («Наш век — торгаш; в сей век железный / Без денег и свободы нет») и «Все мое, сказал булат», к Баратынскому («Век шествует путем своим железным»), а затем к Дельвиу («Кто на снегах возмрастил Феокритовы нежные розы? / В веке железном, скажи, кто золотой утадал?»). Но в то время я толком не знал, кто такой Е. Этгинд, и свою первую биографическую информацию о нем я намарал карандашом на титульной странице этой книжки: «Ефим Григорьевич, заведующий кафедрой перевода, свидетелем защищал Бродского на процессе в 1963. Браво!»

Немного спустя я упивался «Матерней стиха», книгой, вышедшей уже в Париже в 1978 году и посвященной светлой памяти учителей Ефима Григорьевича — Г. А. Гукковского и В. М. Жирмунского. Очень люблю в ней главу «Звук и смысл», которой я обязан многим в развитии своего собственного подхода к поэтическому слову.

В одно вермонтское лето я как-то рассказал Е. Г. о своем замысле реконструировать последний лирический пикл Пушкина и о тайнописи в «Пиковой даме». В обоих случаях в основу моего исследования легло «этгиндовское» изыскание смысла из звука. Е. Г. обе идеи приписал по душе, и он потребовал, чтобы я спешно превратил их в статьи для сборника, который он составлял в Париже к 150-летию смерти Пушкина. Это были мои первые статьи, написанные по-русски. Из-за того, что я скверно стучал на русской машинке, пришлось врукопашную бороться с тьмой печаток Добрейший Е. Г. без единого упрека за мою безалаберность и безграмотность определял обе статьи и напечатал в пушкинском номере *Review des études slaves* (1987).

Восстанавливая «Каменноостровский пикл» Пушкина, я часто вспоминал две лекции, прочитанные Е. Г. в конце 1970-х годов в Йельском университете, в котором я в то время преподавал. Это были блестящие анализы композиционного строения пикла «Кармен» и поэмы «Два надгробья» Блока, диаграммы которых Е. Г. чертил на доске.

Лекции Е. Г. читал или по памяти, или — чаще всего — справляясь со своими заметками на листочках, разложенных, как пасьянс, на столе. Читал медленно, спокойным баритоном, с паузами. Он отчетливо произносил запятыя, подбирал в этих паузах «mot juste» или нащарывая нужные листочки. Стихи он читал наизусть, почти монотонно, как бы на одном дыхании, и все тише и тише, и вдруг ставил резкое ударение на ключевом слове, после чего набирал воздух и начинал водить в прострэнстве невидимой сигаретой в длинных пальцах.

Я очень любил его голос и манеру чтения и всегда был самым внимательным слушателем его лекций. Однажды он даже об этом упомянул в письме: «Вспоминано с удовольствием наши беседы, деловые и дружеские встречи, даже выражение Вашего лица на моих лекциях: по его изменениям я мог судить о том, что получается, а что нет» (из письма от 27 августа 1985 г.).

Лето 1985 года улагось на славу. Я пригласил на семинар моего любимого учителя Виктора Генриховича Эрлиха, Бенгта Янгфельда из Швеции и, как всегда, Е. Г. Эрлих, автор первой книги о русском формализме, читал лекции по литературной теории, Янгфельд, друг Лили Брик и издатель ее переписки с Маяковским, — о футуризме, а Е. Г. — об акмеизме. Трудно представить себе более профессиональную и обаятельную компанию. К тому же Эрлих с Этгиндом были старые друзья, и мы вместе проводили много времени.

Е. Г. любил Вермонт, но как коренной горожанин (петербуржец, парижанин) относился к природе достаточно равнодушно. Я как-то поведал Эрлиха с Этгиндом на дивный горный водопад — там воцарилась форель, которую я обещал поймать. Окунув его белыми взглядом, Е. Г. вспомнил «Водопад» Державина и Полежаева, «Ниагару» Язкова, «Шебунтий» Вестуева-Марлинского и расказал, как ему этой зимой показа-

ли замерзший водопад в Альпах. Я закинул удочку, но «дядя Витя» с «дядей Фимой» залезли в воду и так мощно барахтались, что распутили всю рыбу. Е. Г. любил природу в оздоровительных целях — моцион на свежем воздухе или плавание; форель предпочитал не удить, а на тарелке, и вообще мне кажется, что красу природы он предпочитал в словесной, стихотворной форме, без комаров. Искупавшись, мы пошли ужинать в *Waldy Inn*, где я заказал купальщикам обеденную, но так и не пойманную мною форель.

На другой день Е. Г. читал вслухительную лекцию об Ахматовой. Он начал с разглагольвания Анны Андреевны «в зеркалах», т. е. с чтения посвященных ей стихов. «Ты ушла, в простом и темном платье, / Походя на древнее Распятье» (Тумишев), «Вы накинете лениво / Шаль испанскую на плечи, / Красный розан в волосах» (Блок), «Есть на тебе печать Господня. / Такая странная печать, / Что, кажется, в церковной нише / Тебе назначено стоять», «Вполоборота, о печаль, / На равнодушных поглядела. / Спадая с плеч, окamenела / Ложноклассическая шаль», «Ужели и гитане гибкой / Все муки Данта сужены?» (Мандельштам). Затем Е. Г. прочитал цветастое: «И тот, кто ранен смертельной твоей судьбой, / Уже бессмертным на смертное сходит ложе». Е. Г. указал, что во всех этих обращениях к Ахматовой заметна черта некой «окаменелости», «сексуальности», которая прислуша и ее собственной поэзии. Стихи Цветаевой — это «страсть в самом своем движении и процессе, тогда как ахматовская поэзия — это страсть, оставшаяся за пределами стихотворения, это окаменевшая страсть». И чтобы пояснить эту разницу, он рассказал про вчерашний водопад и про тот друтой, замерзший, ледяной: «В нем тайлось все, что есть в живом водопаде, но в застывшей, прекрасной, классической, окаменевшей форме».

По пятницам мы жгли костры, жарили колбасу, ели рыбу, пили меды, пели песни... Собираюсь до двадцати преподавателей Русской школы. Многие приезжали на костры с детьми, которых мы на ночь укладывали в палатки, а к обеду я их привозил родителям в столовую. Е. Г. песен не любил и уезжал рано. Последним, как правило, уезжал наш друг Эрик Первукин. Сколько раз мы с Эриком молча сидели у доторающего костра и допивали с бутылочных дон недопитое добро: водку, вино, полушторфички... Мы называли это «чтение стеклянных книг». И в самом деле, когда молчать становилось скучно, мы при свете керосиновой лампы начинали читать друг другу стихи.

Однажды я попросил Е. Г. задержаться после костра, сказав, что у меня для него небольшой сюрприз. Когда народ разошелся (Эрика в то лето не было), я предложил Е. Г. почитать «стеклянные книги». Е. Г. недоумевал и удивился еще больше, когда я преподнес ему двухлитрового Фета. Это была бутылка калифорнийского красного вина «Fetzer», но я заклеил на выветжке последний слог. Бутылка была не пуста, только вместо красного вина в ней на ниточках болтались свернутые в трубоч-

Зимние воспоминания о вермонтских летах

Ки мои любимые стихотворения Фета. Окружив бутылку, я предложил Е. Г. дернуть за любую ниточку. Е. Г. вытянул «Непогода — осень — куришь / Куришь — все как будто мало. / Хоть читал бы, — только чтение / Подвигается так вяло». Мне выпал мой любимый «Ворот». (Не поленись, любезный мой читатель, окрой томик Фета и перечитай «Ворот» — ей-Богу, прелесть.) Мы по очереди дергали за ниточки и читали, пока Е. Г. не выпало стихотворение «У каминна»: «Тускнеет угли. В полумраке / Прозрачный выветь огонек. / Так плещет на барьяном маке / Крылом лазурным мотылек. / Виденный нестрых вереница / Влетец, усталый теша взгляд, / И неразгаданные лица / Из пелла серого глядят».

Одним таким «неразгаданным лицом» оказался впоследствии Вячеслав Анатольевич Кошелев, с которым мы в 2000 году в Финляндии распивали настоящего Фета. Он готовил к печати пятитомное издание Фета и откопал в архиве рецепт, записанный рукой Фета: как делать абсент. Для настоящего абсента, который запрещен во всех уважающих себя странах, необходима специальная, очень редкая трава, которая не растет в России. Фет как-то обнаружил ее во время прогулки в Австрию, привез семена и посадил их у себя в Степановке. Произросла былинка. Прошло сто лет, и вот бородачты, как «верховный жрец», Кошелев, бродя по фетовской земле, наткнулся на эту былинку и привез в Финляндию бутылку настоящего фетовского абсента, которую мы тут же и распили у него в номере, поминув в свою очередь и Е. Г. Вот к чему приводит чтение «стеклянных книг». «К полной реализации метафоры», как бы отметил Е. Г., которому приехать на конференцию в Тампере было уже не суждено.

Один раз летом я поведал Е. Г. и Виктора Генриховича на милдберийское кладбище, чтобы показать одно необычное надгробие. Под ним покоился прах Амун-Хера Кипиша, сына египетского фараона двенадцатой Династии, умершего в 1883 году до н. э. и похороненного на Вермонтском кладбище. Я рассказывал Е. Г. и В. Г. историю о том, как четыре тысячелетия этот фараончик ютился между мумиями мамы и папы в дашурской пирамиде в двадцати милях от Каира. Но в 1840 году арабские грабители распространили гробницу и продали за пятнадцать долларов младенца каким-то испанцам, которые и привезли его в Нью-Йорк. Прошло еще сорок лет, и выладец городского музея в Милдбери Генри Шелдон купил с аукциона за десять долларов уже немного попорченную мумию и выставил у себя в музее. Но тут возмущился месный священник: нельзя выставлять покойника! Хозяину пришлось убрать его на чердак, где про него и забыли. Вермонтский климат не пошел фараончику впрок, и состояние его ухудшилось. Еще через каких-то шестьдесят лет при ремонте музея нашли на чердаке неопределенного цвета и запаха жижку с бирочкой. К тому времени уже новый хозяин музея, некий Джордж Милл, сообразил, в чем дело, и решил похоронить фараончика по-христиански на своем семейном участке. Но не тут-то

Было. Местный священник наотрез отказался хоронить на христианском кладбище басурмана, и господину Милу пришлось обратиться к священнику менее сурового нрава в соседнем городе. Тот за бутылку рома фараончика окрестил, а затем на специально выкованном поносе Амун-Хера сожгли и прах его похоронили на миллберийском кладбище, за тенистыми кортами, под христианским крестом с иероглифами «анкх» и «ба», обозначавшими «жизнь» и «душу».

«Ничего себе экспатриация», — сказал Е. Г. голосом человека, знающего толк в эмиграции. «Похлеще наших», — добавил Виктор Генрихович, которого ребенком после революции увезли из России.

В 1989 году, это было уже при Горбачеве, я впервые удостоился визы в СССР. Полетел я в Ленинград, а приземлился в Петербурге. Я собирался поработать в архивах Пушкинского Дома и встретиться после 24-летней разлуки со своим отцом. Перед отъездом я попросил Е. Г. назвать мне нескольких своих петербургских приятелей, с которыми мне было бы интересно встретиться и кому было бы интересно познакомиться со мной. Он записал мне телефоны Юрия Левина, Вадима Вацура, Якова Гордина и Александра Долинкина. Все они оказались умнейшими и милейшими людьми, мы сразу нашли общий язык, а с Вацуро и Долинкиным у нас завязалась прочная дружба. Дружба с Сашей Долинкиным оказалась продолжением, через одно поколение, дружбы наших дедов — литературоведов А. Искоза и А. П. Вема. Поэтиками они еще до революции в Венгеровском семинаре, затем Бем покинул Россию навсегда. Итак, сам того не подозревая, Е. Г. свел впуск старых друзей и липший раз доказал свою теорему, что «русская культура, где бы она ни творилась, — по ту или по эту сторону государственной границы, — одна» («Материя стиха». От автора).

Так уж повелось, что день моего рождения (17 июля) мы не раз отмечали вместе со Светланой Ельницкой, великой поклонницей андальских омаров, и с Е. Г., глубоким поклонником испанской рихи, Marquis de Sade's. На день рождения Е. Г. обычно дарил мне свою очередную книжку, а когда такой в этом году не было, то кого-нибудь из современных поэтов, которых он любил, вроде веселого Игоря Иртышева. Традиция эта продолжалась до середины 90-х годов, хотя тогда я уже не преподавал в летней школе.

В 1995 году Русская школа праздновала свое пятидесятилетие, и по случаю такого юбилея тогдашний директор Русской школы Воронцов пригласил на торжества Давида Бета как бывшего директора школы и Е. Г. в качестве «свадебного генерала». Доклад Давида Бета был о Джефферсоне и свободе, а затем выступил Е. Г. Он сначала поздравил с трибуны Русскую школу и опального Давыдова с их пятидесятилетиями (это было как раз в день моего рождения), а затем прочитал доклад о

пушкинских «Бесах». После торжества мы ретировались и по старинке отправились есть омаров и пить рюху.

В 1996 году Е. Г. со Светой Ельницкой приехали ко мне на день рождения из Норвича, но меня не застали. Я был в России, так что они посидели на траве перед нашим домом, искупались в пруду, выпили бутылку рюхи без меня, и Е. Г. оставил в почтовом ящике свою очередную книжку — «Там, внутри» с дарственной надписью.

В 1998 году норвичская Русская школа закрылась, и под вопросом оказалось будущее наших летних симпозиумов. Пришлось искать для юбилейной пушкинской конференции новую крышу. В последнюю минуту нам удалось пристроить конференцию в Индианском университете, в городе Блумингтон. Незабывая на расстояние (Средний Запад) и жарчайшее лето (40 градусов в тени), приехали многие из ветеранов вермонтских симпозиумов: Игорь Ефимов, Валдим Ляпунов, Татьяна Смородинская, Светлана Ельницкая и другие. Приехал и мой любимый Виктор Эрлих и — для пушей нестрогты — даже один ветеран испанской гражданской войны, Захар Плавский, с докладом «Пушкин и Испания». Была и дочка Е. Г., Маша, и, как всегда, Е. Г. окружал ретивый табак нестаревших поклонниц.

Во все эти дни Е. Г. был в замечательной форме и настроении. Он торжественно открыл конференцию, сам выступил на первом заседании с докладом «О новых французских источниках лирики Пушкина». Так как председательствовал на последнем заседании я, мне пришлось представить публике любимого ими и мною человека, но после первых слов я от избытка чувств лишился дара речи и, извинившись за свое косноязычие и наряд (шорты), передал слово докладчику.

Е. Г. заявил, что у него не доклад, а рассказ, а указал на программку конференции с титулом Пушкина, сидящего на «скамье Онегина» с книжкой в руке. Затем Е. Г. медленно поднял над головой небольшой томик в свиной коже и заявил: «Вот эта книжка!» Это был 7-й том пятнадцатитомной «Малой поэтической энциклопедии» (*Petite encyclopédie poétique*, Париж, 1804). Е. Г. рассказывал, как изыски Пушкин осваивал поэтику и тематику французских романсов и шансонов XVIII в., напечатанных в этих томиках. Е. Г. находил здесь и пушкинскую строфику, и жанровую выдержанность, и пристрастие к *române*, и шутливые сентенциозные изречения, и эпиграмматичность двустиший в конце строфы, и уйму других воинству пушкинских приемов. Затем, в виде доказательства, Е. Г. начал читать по очереди французские и пушкинские стихи. Эффект был поразительный: неслучайно на безупречный французский язык и прекрасную манеру чтения Е. Г., французские оригиналы слушались как беглые переводы замечательных пушкинских стихотворений. В своем блестящем экспромпте Е. Г. показал, что французские источники пушкинской поэзии куда шире, чем думали Борис Томашевский или Лариса Волперт.

Сергей Давыдов

Пушкинский юбилей в Индии в 1998 году оказался последней моей встречей с Е. Г., которому только что исполнилось восемьдесят лет. Во время торжественного банкета в честь наступающего 200-летия Пушкина мы задумали отметить и 80-летие Е. Г. После многоочисленных тостов за «Кормилиця Пушкина» и во здравие Е. Г. юбилыр попросил слова. Он поблагодарил всех присутствующих и рассказал, как давным-давно зашел с одной аспиранткой-француженкой в гости к Корнею Чуковскому. Невзирая на преклонный возраст, Корней Иванович не на шутку оживился и весь вечер любезничал с изысканной барышней-француженкой, а при прощании прошептал Е. Г. со вздохом: «Эх, где мои восемьдесят лет!»

Ирма Кудрова  
Вокруг Марины Цветаевой

Дом творчества писателей в Комарове, теперь, увы, прекративший свое существование в прежнем статусе, еще долго будут поминать добрым словом. И не только потому, что в нем хорошо работалось, но еще более из-за тех дружб и знакомств, какие там завязывались и укреплялись. Из случайного соседства за столиком проистекали порой чуть не судьбоносные последствия. Так во всяком случае было со мной.

В конце 60-х годов именно в Комарове я познакомилась, а потом и подружилась с двумя замечательными нашими переводчицами — Эльгой Львовной Линецкой и Александрой Львовной Андреев, буквально украсившими мою жизнь. Стучилось так, что вскоре определился мой исследовательский интерес к творчеству и личности Марины Цветаевой; обе мои старшие приятельницы горячо этому сочувствовали. И однажды Эльга Львовна предложила: «А не устроить ли вечер Цветаевой в нашем Доме писателей? Воспользуемся круглой датой (то был, скорее всего, год 1972-й — то есть приближалось 80-летие Цветаевой). Конечно, прямого юбилейного действия устроить нам не позволит, но не попробывать ли провести его под эгидой секции переводчиков? Цветаева сама занималась переводом — отчего бы нам этим не воспользоваться?»

В ту пору Э. Л. Линецкая вела при ленинградском Союзе писателей семинар переводчиков французской поэзии, ее положение в писательском Союзе было авторитетным. Вскоре она переговорила о нашем замысле с Ефимом Григорьевичем Эткиндом — он входил тогда в бюро переводческой секции — и получила его безусловную и заинтересованную поддержку. В результате переводчики приняли решение провести юбилей Цветаевой как бы в рамках своих открытых чтений.

Подробностей уже не помню, но подготовка вечера была основательной; из Москвы пригласили приехать Вячеслава Всеволодовича Иванова и Алексея Владимировича Эйслера, знавшего Цветаву по годам эмиграции (на вечеру он великодушно прочел наизусть цветаяевскую поэму «Крысолов»). От секции доклад взял сделать известнейший переводчик и теоретик перевода Андрей Венедиктович Федоров.

Большой зал Дома писателей на улице Воинова был в тот вечер переполнен. Люди стояли во всех проходах и вдоль стен, слушали из